

# 1

*Декабрь 2001 года*

Тем, кто я есть, я стал зимой 1975 года, в морозный пасмурный день. Эта минута навсегда врезалась мне в память: пригнувшись, я хоронюсь за саманной стеной у замерзшего ручья и украдкой наблюдаю за тем, что совершается в переулке. Все это происходило давно, но не верьте расхожим при- сказкам, что, мол, «было и бывшем поросло». Про- шлое впивается в тебя словно когтями, не ото- рвешь. Оглядываясь сейчас назад, я четко понимаю: вот уже двадцать шесть лет кряду я тайком наблю- даю за тем, что творится в переулке. И нет этому конца.

Этим летом мне позвонил из Пакистана мой друг Рахим-хан и попросил приехать. Я стоял в кухне, прижав к уху телефонную трубку, и созна- вал: это не простой звонок. Меня настигло про- шлое, мои неискупленные грехи. Закончив разго- вор, я вышел прогуляться. Путь мой пролегал вдоль озера Спрекелс у северной границы парка «Золо-

тые Ворота»<sup>1</sup>. Едва перевалило за полдень, солнечные лучи сверкали на поверхности озера, по воде пробегала легкая рябь. Свежий ветерок раздувал паруса игрушечных корабликов. В небе плыла пара красных воздушных змеев, их длинные голубые хвосты полоскались в воздухе. Люди, деревья, ветряные мельницы и прочая мелочь остались далеко внизу, и змеи величественно созерцали Сан-Франциско, город, который стал мне домом. И тут я услышал слова Хасана: «Для тебя хоть тысячу раз подряд». Голос мальчика с заячьей губой, который обожал запускать воздушных змеев и всегда первым прибегал к месту их приземления, отчетливо прозвучал у меня в голове.

Я присел на лавку под ивой, стараясь переварить слова, которыми Рахим-хан закончил разговор: «Тебе выпала возможность снова встать на стезю добродетели». Глядя на воздушных змеев, я думал о Хасане. Думал о Бабé. Об Али. Вспоминал Кабул. Вспоминал, как я жил, пока не настала зима 1975 года. Эта зима все изменила. И сделала меня таким, какой я есть.

## 2

В детстве мы с Хасаном частенько залезали на какой-нибудь из тополей, росших во дворе у дома моего отца, и пускали солнечные зайчики в окна соседям. С карманами, набитыми сушеными тутовыми ягодами и грецкими орехами, мы забирались высоко, садились каждый на свою ветку, свешивали ноги и по очереди ловили лучи осколком зеркала. Весело хихикая, мы набивали рты ягодами, кидались ими друг в друга. Так и вижу Хасана на дереве: солнечные лучи играют в листве, трепещут на его круглом лице, словно вырезанном из дерева, — плоский широкий нос, раскосые глаза, формой напоминающие бамбуковые листья (в зависимости от освещения глаза у Хасана становились то золотистыми, то зелеными, порой даже бирюзовыми). Вижу его маленькие приплюснутые уши и выпирающую косточку на подбородке, словно у китайца-кукольника соскользнул резец. А может быть, мастер просто устал и допустил небрежность.

Иногда, сидя на дереве, я подговаривал Хасана пультнуть из рогатки орехом в соседскую одногла-

зую немецкую овчарку. Хасан поначалу не соглашался, но если я просил, *по-настоящему* просил, он не мог мне отказать. Он всегда выполнял любую мою просьбу, а с рогаткой был просто неразлучен. Случалось, Али, отец Хасана, ловил нас на шалости и выходил из себя (насколько мог выйти из себя такой мягкий человек). Али грозил нам пальцем и велел немедленно слезать. На земле он отбирал у нас зеркала и повторял слова своей матери: дьявол насылает в зеркала отблески, дабы отвлекать мусульман от молитвы. «И смеется при этом», — неизменно говорил он, с укоризной глядя на сына.

«Да, отец», — бормотал в ответ Хасан, потупившись. Но он ни разу меня не выдал. Ни разу не сказал, что это я всегда был зачинщиком всякой проказы и что страдания соседской собаки (да и солнечные зайчики тоже) — на моей совести.

Тополя росли вдоль вымощенного красным кирпичом проезда к нашему дому. Ворота из кованых железных прутьев открывались внутрь, во двор. Если смотреть с улицы, дом стоял по левую сторону, а в самом дальнем конце участка располагался задний двор.

Все соглашались, что особняк моего отца, моего Бабы, был самым красивым в Вазир-Акбар-Хане, новом богатом районе на севере Кабула<sup>2</sup>. А может, и во всем Кабуле. Обсаженный розами широкий проход вел к просторному дому с мраморными полами и широкими окнами. Узорчатые мозаичные панно для четырех ванных комнат Баба заказывал в Исфагане. Купленные в Калькутте ковры, шитые золотом, украшали стены, со сводчатого потолка свисали хрустальные люстры.

Наверху располагались моя ванная, комната Бабы и его пропахший табаком и корицей кабинет, или «курительная». Здесь хозяин и гости отдыхали в кожаных креслах после обеда, поданного Али, курили и беседовали. Обыкновенно тем для разговоров было три: политика, бизнес, футбол. Мне всегда очень хотелось присоединиться к ним, но Баба не разрешал.

— Уходи немедленно, — говорил он мне, стоя на пороге кабинета. — Здесь взрослые беседуют. Иди почитай книжку.

И он захлопывал дверь, а я, гадая, смогу ли хоть когда-нибудь разделить компанию со «взрослыми», опускался на пол, поджимал колени к подбородку и сидел так час или два, подслушивая. До меня долетали громкие возгласы и взрывы смеха.

В гостиной на первом этаже, вдоль плавно изгибающейся стены, выстроились шкафчики, выполненные по индивидуальному заказу. За стеклянными дверцами скрывались семейные снимки в рамках, и среди них — зернистое фото моего деда и короля Мухаммеда Надир-шаха, снятое в 1931 году, за два года до покушения; дед и король стоят над убитым оленем, оба в ботинках до колен, ружья закинута за плечо. Имелась и свадебная фотография моих родителей: бравый Баба в черном костюме и мама вся в белом, словно юная принцесса. А на этом снимке Баба у нашего дома со мной — совсем еще маленьким — на руках, рядом — его лучший друг и компаньон Рахим-хан, лица у всех серьезные, утомленные, даже мрачные. Пальцы мои вцепились в рукав Рахим-хану, а не отцу.

Изгиб стены тянулся до самой столовой, посередине которой стоял стол красного дерева. За этот

стол свободно могли сесть тридцать гостей, что, кстати, и происходило чуть ли не каждую неделю, благо отец мой любил пиры. Панораму зала замыкал огромный мраморный камин, зимой в нем всегда пылал огонь.

Большая стеклянная сдвижная дверь вела на полукруглую веранду, окна веранды выходили на задний двор (целых два акра) и на вишневый сад. У восточной стены Баба и Али разбили небольшой огород: помидоры, мята, перец и высаженная в ряд кукуруза, которая почему-то никогда как следует не вызревала. Мы с Хасаном прозвали это место «стена чахлой кукурузы».

В южной части сада, в тени локвы, стоял дом слуг, скромная глинобитная хижина, где жили Али и Хасан.

Здесь, в этой лачуге, зимой 1964 года, ровно через двенадцать месяцев после того, как моя мама умерла, когда рожала меня, Хасан и появился на свет.

За все восемнадцать лет, прожитые в доме отца, я считанные разы бывал у Али и Хасана. Когда солнце пряталось за холмы и играм на сегодня наступал конец, Хасан и я расставались. Я шагал меж розами к особняку отца, а Хасан скрывался в саманном домике, где родился и прожил всю свою жизнь. В слабом свете двух керосиновых ламп жилище поражало скудостью обстановки, чрезвычайным порядком и чистотой. Два тюфяка у противоположных стен, между ними старенький гератский ковер с обтрепанными краями, трехногая табуретка в углу у стола, за которым Хасан рисовал. Почти голые стены, только один коврик с вышитыми бисером словами «*Аллах Акбар*». Баба купил его для Али в одну из своих поездок в Мешхед<sup>3</sup>.